

А. Л. ОСНОВАТ

К ИЗУЧЕНИЮ ПОЧВЕННОЧЕСТВА

(Достоевский и Ап. Григорьев)

Взаимоотношения Достоевского и Григорьева в начале 1860-х годов, в период издания «Времени» и «Эпохи», неоднократно анализировались в литературе;¹ однако эту проблему еще нельзя считать достаточно изученной. Необходимо более пристальное внимание к тому, как интерпретировали Достоевский и Григорьев само понятие почвенничества.

В русле нашей темы примечательной представляется схожесть позиций Достоевского и Григорьева в идейной полемике 40-х годов — в пору молодости обоих. Основной идеологический конфликт этой эпохи определялся антиномией «славянофилы» — «западники», соответственно дифференцировавшей русскую общественную мысль. Внутренние противоречия (А. И. Герцена с Т. Н. Грановским или А. С. Хомякова с К. С. Аксаковым) не препятствовали консолидации обеих враждующих сторон в моменты принципиальных споров; выражения типа «наши» и «не наши» в это время стабильны и общепонятны.² Бескомпромиссность, с которой противники вели полемику друг с другом,³ в из-

¹ См., например: Спиридонов В. С. Направление «Времени» и «Эпохи». — Достоевский. Однодневная газета Русского библиологического общества. Пг., 1921, 30 октября (12 ноября), с. 2—9; Кирпотин В. Я. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966; Зильберштейн И. С. Аполлон Григорьев и попытка возродить «Москвитини» (накануне сотрудничества в журнале «Время»). — Лит. наследство, т. 86, М., 1973, с. 567—580; Laffitte S. Apollon Grigor'ev et Dostoevskij. — Revue des études slaves, 1964, v. 43, p. 1—4.

² Дневниковая самохарактеристика Герцена («какое-то невольное *juste milieu*» — Герцен А. И. Собр. соч., т. II, М., 1954, с. 354), свидетельствующая о его наибольшей интеллектуальной самостоятельности среди западников, не противоречит, однако, тому, что в 40-е годы он постоянно создает себя «нашим» — и особенно в окружении «не наших».

³ Характерно, что попытка примирения славянофилов и западников — обед в честь Грановского в апреле 1844 г. — реализовалась лишь в карнавальном духе: противники остались противниками.

вестной мере обусловила тот факт, что редкий современник представлял себе иное решение проблемы «Россия—Запад», нежели альтернативное.

На синтез двух полярных начал последовательно ориентировался В. Ф. Одоевский; нечто подобное характеризует и мировоззрение П. А. Вяземского 40-х годов.⁴ Особняком же стоят представители молодого поколения — Достоевский и Григорьев.

Драма «Два эгоизма» и поэма «Олимпий Радин», написанные Григорьевым в 1845 г., как уже отмечалось, одновременно пародируют и славянофильскую идеологию, и русскую рецепцию фюреризма.⁵ Однако в конце 1845 г. или в самом начале 1846 г. Григорьев написал несколько рецензий в «православном и славянском духе» (по его собственному выражению⁶), а с другой стороны — 1845—1846 гг. датируется его стихотворение «Город» («Великолепный град! пускай тебя ипой...»), отразившее несомненное влияние на автора воззрений утопических социалистов.⁷ «Григорьев петербургского периода, — писал позднее А. Блок, — в сущности лишь прозвище целой несогласной компании...»⁸

Подобная противоречивость свойственна и взглядам Достоевского 40-х годов. Его негативное отношение к славянофильству, выраженное еще в письме 1845 г. (П., I, с. 82—83), прослеживается и в 1847 г. (фельетоны «Петербургская летопись» — см.: XIII, с. 22—23) и в 1849 г. (сочувственная реакция на письмо А. Н. Плещеева с нападками по адресу Хомякова и К. Аксакова). Но в те же годы посетители «пятниц» Петрашевского запомнили автора «Бедных людей» как поборника общинных начал, выработанных в народном быту, и как противника любого насильственного переворота.⁹

А другие петрашевцы запомнили Достоевского — рьяного сторонника сугубо конспиративной организации,¹⁰ слышали его мечты об освобождении крестьян «хотя бы чрез восстание».¹¹ На

⁴ См.: Тоддес Е. А. О мировоззрении П. А. Вяземского после 1825 г. — В кн.: Пушкинский сборник, вып. 2. Рига, 1974.

⁵ См. комментарий Б. О. Костелянца в кн.: Григорьев А. Избранные произведения. Л., 1959, с. 559—561; 563—564.

⁶ А. А. Григорьев. Материалы для биографии. Пг., 1917, с. 105. — Эти рецензии публиковались в 1846 г. в «Финском вестнике».

⁷ Обоснование этой датировки см. в указанных комментариях Б. О. Костелянца, с. 535.

⁸ Блок А. А. Собр. соч., т. 5. М.—Л., 1962, с. 498. Ср. аналогичный отзыв современника — Я. П. Полонского (Неизданные письма «...» Из архива А. П. Островского. М.—Л., 1932, с. 455).

⁹ См.: Миллюков А. П. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, с. 176—177, 180—181.

¹⁰ См. свидетельства А. Н. Майкова: его письмо к П. А. Висковатову от 1885 г. (в кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Пг., 1922, с. 266—277) и запись беседы с ним А. А. Голенищева-Кутузова (Исторический архив, 1956, № 3, с. 222—226).

¹¹ По воспоминанию А. И. Пальма (см. в кн.: Ф. М. Достоевский. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883, с. 85).

следствии Достоевский осуждал идею фаланстеры (что не было тактической уловкой, так как подобное он высказывал и на собраниях у Петрашевского), но заявлял, что «социализм <...> сделал много научной пользы...»¹² И это же показание обнаруживает известное сходство его воззрений с историческо-философской концепцией славянофилов.¹³

Восприимчивость к самым несогласующимся между собой идеям, готовность свободно ревидовать и немедленно осмеивать их (иногда же после насмешек — вновь в них уверовать) — все это свидетельствует о принципиальном адогматизме Достоевского и Григорьева в 40-е годы. Они оба равно отвергали славянофильство и западничество, как замкнутые идеологические системы, предполагавшие четкое разделение людей на «наших» и «не наших» и канонизировавшие свои опорные постулаты, по отношению к которым (внутри соответствующей структуры) не допускалось ни сомнения, ни прощан. Отсюда пренебрежительный тон, с которым в «Петербургской летописи» говорится о столичных кружках: «...у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой оракул» (XIII, 9). И педаром Григорьев не без гордости писал в «Кратком послужном списке...» под 1846 г.: «...городил в стихах и повестях ерундищу непродоходимую. Но зато свою — не кружка».¹⁴ С кружковщиной как таковой Достоевский и Григорьев прямо связывали «химеры головы», т. е. любые теоретические построения. Отвлеченному умствования западников и славянофилов решительно предпочитается изучение «прямых непосредственных требований» реальной жизни; и только на этом пути мыслится решение главной задачи человека — «сделать художественное произведение из самого себя», ибо жизнь есть «целое искусство» (XIII, 10, 11, 28).

Но конкретную мысль, высказанную в том или ином лагере, оба молодых литератора охотно брали на вооружение: она ценилась исключительно своей адекватностью (пусть преходящей) определенному жизненному явлению. Идея в известном смысле отчуждалась от породившего ее контекста, вследствие чего, по позднему замечанию Григорьева, представляла в ином качестве: «А ведь мысль, не прикованная к теории, такой свободой своей ужасно много теряет в своей силе, хоть, может быть, и много выигрывает в своей правде» (курсив наш, — А. О.).¹⁵

Противопоставляя любому целостному — или взыскующему целостность — мирозерцанию («силе») разрозненные взгляды,

¹² Цит. по кн.: Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971, с. 109.

¹³ См.: Основат А. Л. Достоевский и раннее славянофильство (1840-е годы). — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 2, Л., 1976, с. 175—181.

¹⁴ Григорьев А. Воспоминания. М.—Л., 1930, с. 375.

¹⁵ Там же, с. 322. — Эта фраза обнаруживает интересный оттенок при сопоставлении с известной русской поговоркой: «Не в силе бог, а в правде».

не всегда сопрягающиеся друг с другом, но непременно укорененные в жизненной эмпирии, Достоевский и Григорьев, таким образом, уже в 40-е годы закладывали фундамент почвенничества.

Почвенничество собрало в тугой узел заветные верования Достоевского и Григорьева, окончательно вызревшие во второй половине 50-х годов. Оба литератора сближаются прежде всего общим представлением о «русской идее». В 1856 г. Достоевский писал А. Н. Майкову: «...разделяю <...> идею, что Европу и назначение ее окончат Россия» (II, I, 165). Через три года Григорьев делился с М. П. Погодиным мыслью (давно им продуманной и прочувствованной) о том, что русское «стихийно-историческое начало <...> должно обновить мир».¹⁶ Это воззрение по свидетельствовало, однако, о переходе на славянофильские позиции, но обозначило еще большую непримиримость Достоевского и Григорьева к западничеству и его рецидивам в общественном сознании.

В их глазах западники по-прежнему — «теоретики», «кабинетные изучатели» и поклонники всего европейского (XIII, 507). Кроме того, писал Достоевский, западники желают слияния всех народностей «в один общий тип», во имя чего выставляют «в уродливом виде и такие особенности народа нашего, которые имснно составляют залогом его будущего самостоятельного развития» (там же). Григорьев же прямо связывал мысль об уничтожении народностей «с мыслию об отвлеченном, однообразном, форменном, мундирном человечестве. Разве социальная блуза лучше мундиров *блаженной памяти* императора Николая Павловича незабвенного, и фаланстера лучше его казарм? В сущности это одно и то же».¹⁷ (Ср. рассуждения критика о том, что любая централизация тождественна деспотизму — «... Николаевскому или Робеспьеровскому, что равно...»¹⁸).

Отношение же Достоевского и Григорьева к славянофильству кристаллизует самосознание почвенничества.¹⁹ Славянофильство (как и западничество) — «продукт головной, рефлексивный»,²⁰ его адепты — «теоретики» (XIII, 508). И хотя оба литератора воздавали должное славянофилам, впервые осмыслившим понятие «народность» применительно к России,²¹ они считали,

¹⁶ Григорьев А. Воспоминания, с. 200.

¹⁷ Цит. по: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — критик. Статья I. — В кн.: Труды по русской и славянской филологии, т. III. Тарту, 1960, с. 198, примеч. (Учен. зап. Тартуск. ун-в., вып. 98).

¹⁸ Переписка Ап. Григорьева с Н. П. Страховым. — Труды по русской и славянской филологии, т. VIII. Тарту, 1965, с. 164. (Учен. зап. Тартуск. ун-в., вып. 167).

¹⁹ Мы не рассматриваем здесь вопрос о том, насколько адекватно почвенники истолковывали славянофильское учение.

²⁰ Цит. по: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — критик. Статья I, с. 198.

²¹ См., например: А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 151.

что славянофилы, абстрагировавшиеся от реальной действительности, создали «узкий, условный, почти пуританский идеал»,²² «какую-то балетную декорацию, красивую, но несправедливую и отвлеченную» (XIII, 502). «Народное начало» почвенники пахотили не в «одном крестьянстве», но во всем «бытии чисто великорусской промышленной стороны России».²³

Примечательно, что почвенники отказывались подразумевать в носителях «народного начала» сугубо положительные свойства, что было свойственно раним славянофилам: педаром обремененному добродетелями старосте из драмы К. Аксакова «Князь Луповицкий» Григорьев явно предпочитал пьяницу Любима Торцова.²⁴ Почвенники видели в славянофилах элитарное барство, считали, что они «хотят учить народ», глубоко к ним равнодушный (XIII, 508).²⁵ Осуждали Достоевский и Григорьев праздность славянофилов, отсутствие у них и намека на полезную деятельность (см.: XIII, 502).

В полемике славянофилов и западников выбор ориентации (национальной или европейской) во многом зависел от философских презумпций противников: идеалистических у первых, материалистических (или стихийноматериалистических) у вторых. Достоевский и Григорьев в этом смысле, безусловно, сближались со славянофилами; по почвенническое мирозерцание, прокламируя себя, тождественный исходный импульс в расчет не принимало. Почвенники игнорировали оппозицию славянофильство (интуитивное познание) — западничество (рациональное познание), так как оба направления вырабатывали хотя и противоположные, но — модели жизни, не могущие претендовать на адекватность всему многообразию жизни. Наследуя славянофильству в решении извечной для русской общественной мысли антиномии, почвенничество переосмыслило самую эту антиномию: «Теория и жизнь, вот запад и восток в настоящую минуту».²⁶ Окончательный приговор теориям вообще Григорьев вынес в 1860 г.: «Теории как итоги, выведенные из прошедшего рассудком, правы всегда только в отношении к прошедшему, на которое они, как на жизнь, опираются; а прошедшее есть всегда только труп, в котором анатомия доберется до всего, кроме души».²⁷

Платформа, объединявшая Достоевского и Григорьева в начале 60-х годов — почва, и задача формулируется Достоевским так:

²² Цит. по: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — критик. Статья I, с. 198.

²³ Там же.

²⁴ А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 189.

²⁵ Ср.: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — критик. Статья I, с. 198.

²⁶ А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 226. — Заметим попутно, что некоторую аналогию восприятия славянофильства почвенниками можно найти в отношении Пушкина (их кумира, и не только эстетического) к Любомудрам, из круга которых вышли многие будущие славянофилы.

²⁷ Григорьев А. Литературная критика. М., 1967, с. 378.

«... нравственно надо соединиться с народом вполне, и как можно крепче <...> надо совершенно слиться с ним и нравственно стать с ним как одна единица» (XIII, 509). И как уже о совершившемся об этом же говорит Григорьев: «Мы не ученый кружок, как славянофильство и западничество: мы — народ».²⁸

Но почвеннический идеал, провозглашенный таким образом, — в сущности, не менее умозрительен, чем представление славянофилов об общине, организованной исключительно по Христовым заповедям, или утопия о человечестве, живущем во всеобщей фаланстере. Тотальный скепсис по отношению к любой системности, концептуальности, — обязательным атрибутом которой является абстрактное мышление, — реализовался в почвенническом мировоззрении столь последовательно, что его позитивная программа, ориентированная на ничем не ограниченную конкретность, представляла в форме максимальной абстракции. И в принципе субстанция истинного почвенничества должна была бы раствориться без остатка во всем бытии русской нации, а его контуры — раздвинуться до бесконечности.

Григорьева это не смущало: «силу», «будущее» он видел как раз в том, что «идеал еще распыляется в беспредельности, что он только вера, вера в жизнь и народ».²⁹ Достоевский же понимал, что григорьевский максимализм губителен для почвенничества как особой идеологической фракции в русской общественной мысли начала 60-х годов.³⁰ И его расхождения с Григорьевым коренились в том, что он (активно поддерживаемый и, возможно, постоянно подталкиваемый М. М. Достоевским и Н. Н. Страховым) готов был пожертвовать «чистотой» почвенничества во имя сохранения самого направления, имеющего свой орган («Время», «Эпоха»), свой круг единомышленников и соответственно четко обозначенных противников, свою иерархию духовных ценностей и, наконец, свою политику. Именно практическая деятельность «Времени» и «Эпохи» с ее неизбежными уступками цензуре и читательскому мнению, компромиссами, недоговорками, полемической тактикой, обуславливавшей то временное блокирование с «Современником» («тушинским станом», по характеристике критика), то публикацию материалов, безразличных к основной идее, — короче, все общественное функционирование почвенничества, по мнению Григорьева, извращало смысл этого феномена, подменяя его устремленность к «абсолют-

²⁸ Цит. по: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — критик. Статья I, с. 198.

²⁹ Григорьев А. Воспоминания, с. 356.

³⁰ Это прекрасно понимали также оппоненты почвенников, такие как Д. И. Писарев, который в статье «Прогулка по садам российской словесности» говорил о крушении направления, возглавляемого Григорьевым (см. об этом: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха», 1864—1865. М., 1975, с. 214—215).

ной правде»³¹ злободневными заботами еще одного кружка. (Григорьев мог бы напомнить Достоевскому о «Петербургской летописи», в которой кружки и кружковая политика едко осмеивались).

«... Нельзя, — писал Григорьев еще в период издания «Времени», — «работати Богу и Маммоне»: нельзя признавать философию, историю и поэзию, и дружить с „Современником“, нельзя, уважая себя и литературу, печатать д...» Кускова и начать фельетоны блевотиной Минасва, нельзя ради дешевого либерализма держать в политике Стеньку Разина,³² нельзя печатать как нечто *хорошее* драму Гейбеля и т. д.»³³ В рамках такого почвенничества Григорьеву было тесно, как, впрочем, и в рамках любого другого направления. Достоевский был абсолютно прав, заявляя, что «Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. А если б у него был свой журнал, то он бы утопил его сам, месяцев через пять после основания» (XIII, 353). Как бы предугадывая замечания Достоевского, Григорьев писал: «Да — я не деятель, Федор Михайлович! <...> я горжусь тем, что во времена хандры и омерзения к российской словесности я способен пить мертвую, *нищаться*, — но не написать в жизнь свою ни одной строчки, в которую бы я не верил от искреннего сердца...»³⁴

В этом контексте представляется закономерным обострение противоречий между ядром «Эпохи» (братья Достоевские и Страхов) и Григорьевым, повлекшее за собой постепенный отход последнего от журнала.³⁵ Григорьев не дожил до декабря 1864 г., когда Страхов со страниц «Эпохи» провозгласил: «Славянофилы победили...»;³⁶ эта фраза в конечном счете обозначила отказ от почвенничества в григорьевском духе.

Исследователями уже отмечались разногласия между Достоевским и Григорьевым в начале 60-х годов;³⁷ как нам представляется, дальнейший анализ их взаимоотношений должен учитывать и тот внутренний парадокс почвенничества, который мы попытались охарактеризовать выше.

³¹ А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 267.

³² Имеется в виду публицист «Времени» и «Эпохи» А. Е. Разин.

³³ А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 285.

³⁴ Там же, с. 286—287.

³⁵ См.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха», с. 153—164.

³⁶ Страхов Н. Н. Заметки летописца. — Эпоха, 1864, № 12, с. 20.

³⁷ См.: Кирпотин В. Я. Достоевский в шестидесятые годы, с. 162—202.

И. Л. ВОЛГИН

«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ»: ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

«Дневник писателя» — литературное произведение особого рода. Между тем до сих пор не только не изучена именно литературная природа моножурнала Достоевского, но даже с достаточной убедительностью не определен его жанр. Отсюда проистекают те методологические трудности, на которые в свое время указывал один из первых исследователей «Дневника» В. А. Сидоров.¹

Возникает настоятельная необходимость рассмотреть как художественную структуру «Дневника» в целом, так и каждый элемент этой структуры в отдельности. Сама «симбиозность» «Дневника писателя» требует особенно внимательного обращения к его первооснове — к тексту.² Весьма важно выяснить положение отдельных частей этого текста относительно друг друга, определить характер и механизм внутритекстовых связей.

Как это ни парадоксально, с момента появления «Дневника» в 1876 г. в качестве особого издания и вплоть до наших дней его *тексту* не уделялось достаточного внимания. В этом смысле чрезвычайно показательна уже *первая* реакция петербургской печати на выход первого номера моножурнала Достоевского (31 января 1876 г.).

¹ В. А. Сидоров высказал осторожное предположение, что строгие логические категории наполняются в «Дневнике» живым образным смыслом. «Тогда цельного и строгого логического выражения мировоззрения Достоевского и не может быть, так как логика понятий и суждений, с одной стороны, и своеобразная логика образов — с другой, по самому существу своему противоположны и не могут в своей контагинации ни к чему привести, кроме противоречия и отрывочности» (Сидоров В. А. О «Дневнике писателя». — В кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2. Л.—М., 1924, с. 111). К сожалению, В. А. Сидоров не успел развить свою точку зрения и применить ее к содержательному анализу «Дневника».

² В данном случае мы говорим о тексте как о самостоятельном объекте исследования.